

Василий Николаевич ФИРСОВ родился в 1951 году в Вытегорском районе Вологодской области. Работал на строительстве КамАЗа, в колхозе, леспромхозе, на Онежском тракторном заводе. Окончил Карельский педагогический институт. Автор нескольких прозаических книг. Живет в Петрозаводске.



Сказки

РАСКИДАЙ ХЛЕВЕЦ, НАРУБИ ДРОВЕЦ

А не в море-океане, не на острове Буяне, а в соседней деревеньке, там, где три дома, семь улиц да двенадцать куриц с двумя головами, с четырьмя ногами, с одним хвостом да на всех притом, жили-были отец с сыном. Сын был умный, а отец еще умнее, как печь топить, так сыну приказ дает: “А ну-ка, сынок, раскидай хлевец, наруби дровец”. Сын раскидает хлевец, нарубит дровец, принесет охапку, водой обольет да и в печь сует.

Сырые-то дрова дольше горят, так старики говорят, а старики зря не скажут, как дрова поливать, покажут, а коль не поймешь — рылом в стол да поднявши о пол, потом на крыльцо да под зад пинцо, потом, догнавши да за ворот взявши, носом в грязь сорок раз, одни суют, другие считают, сначала хором, потом по одному. До сорока дойдут, к реке несут, в воду окунут, пятки щекочут, сами хохочут, а ты хоть плачь. Окунувши, вытащат, на солнце высушат, сразу поймешь, что старики говорили, на что наставляли, печь топить через трубу заставляли. “Клади, — говорят, — дрова в трубу, а дым себе дорогу найдет, через окно пойдет, окно трубы шире, к тому же окон четыре да пятая дверь, нам, старикам, верь, старики мимо не скажут, если надо — покажут, а не надо — домой пойдут, про тебя, дурака, старухам расскажут”.

Все верно, все так, только речь не все про печь, а про сына с отцом, про дрова с хлевцом. Сын разобрал хлевец, нарубил дровец, принес охапку, водой облил, тут отец новый приказ дает: “А ну-ка, сынок, поставь в печь чугунок, дровами завали да так и вари. В дровах-то суп мигом сварится, не надо ждать, ложками стучать”.

Поставил сынок в печь чугунок, дровами завалил, стал лучину искать, набрел на кровать, кровать сосновая, почти что новая. А кроватью растоплять — горя не зная, так старики говорят, они-то зря не скажут, а если надо — покажут. Коль поймешь — молодец, сунут в зубы огурец, а не поймешь толком — в зубы кулаком, лбом об стену, брюхом — на скамью и ну пороть. Один порет, другие считают. Сначала хором, потом — по одному. Порку дадут, на улицу ведут, ребятишкам показывают: “Глядите, ребята, ум-то не в голову вбивают, а в задницу. Коль в задницу вбито — ничем не вышибешь, а в голову вбивать — только время терять, понятно ли это?”

Все верно, все так, только речь не о том, что по заду кнутом, речь про сына с отцом, про дрова с хлевцом, про тот чугунок, что поставил сынок, дровами завалил,

печь кроватью растопил да и варит суп из двенадцати круп. Суп варится, отец сыну новый приказ дает: “А ну-ка, сынок, крышу разбери да пол перестели. Видишь, половицы провалились, ходить нельзя, сломать ногу можно. Дождь-то не каждый день идет, и без крыши проживем, а по полу ходить надо каждый день, да и ночью, бывало, встанешь, воды попьешь, обратно идешь, все на свете клянешь: до кровати добраться — все ноги сломать”.

Залез сынок на крышу, мигом разобрал, доски в окно подал, сам через трубу спустился, из печи появился — отца до смерти напугал, отец в поле убежал.

Стал сын перестилать пол, да вдруг дождь пошел, пришлось работу бросить, в баню бежать, там дождь пережить. Ждал-ждал, дождь не кончается, а тут и отец ввалился, сына увидел, за баннушку принял, хотел убежать, да сын опередил, за рукав схватил, на скамью усадил, стали они друг другу рассказывать: сын про дождь в избе, отец про дождь в поле — где больше лило. Сын говорит: “В избе”, отец говорит: “В поле”. Сын: “В избе”, отец: “В поле”.

Долго спорили, решили проверить. В поле пошли — ни одной лужи не нашли, приходят домой — там чашки плавают, в печь заплывают, вода через окна плещется. “Правда твоя, — говорит отец, — в избе сильнее лило, бери-ка, сын, помело, я дверь-то открою, воду выпущу. Как хлынет вода, ты по ней хлопай, чашки топи, чтоб далеко не уплыли. А то на улицу уплывут — соседи разберут, потом нанщешься”.

Взял сын помело, отец двери открыл, вода во двор хлынула, обоих в сторону откинула: одного на сани, другого на телегу. Поплыли сани — на санях отец с петухом, поплыла телега — на телеге сын с котом, машет помелом, чашки топят, чтоб далеко не уплыли, соседям не достались. Катится река да повдоль села, народ впереди реки бежит, “что такое?” говорит, ребяташки с крыш удочки закидывают, коровы режут, на деревья лезут, овцы бегут — горохом рассыпаются. Пронеслась река да вдоль по улице, а как вырвалась в поле, вширь растеклась, в озеро превратилась, людям пригодилась. Стали они в озере рыбу ловить да отца с сыном благодарить.

А отец сыну уже новый приказ дает: “Разбери-ка еще хлев, наруби дров, печку затопи, избу просуши да пирогов напеки. Сядем вдвоем, по пирогу съедим, остальное коту с петухом дадим, на полоти ляжем да, поумневши, скажем: хватит людей смешить, как бы не пришлось слезы лить. А чтобы слезы не лить, надо у сказки конец завить, связать узлом, обрубить топором, за окно выкинуть. А как поспеет самовар — чаю попить, цветы в горшках полить да и спать идти”.

Так и сделали сын с отцом. Сын разобрал еще хлев, нарубил еще дров, дрова водой облил, кроватью растопил. Напекли они пирогов, за стол сели, по пирогу съели, остальное коту с петухом поделили. Конец у сказки завил, связали узлом, отрубили топором да за окно и махнули. Кончилась сказка, а тут и самовар поспел, отец с сыном чаю попили, цветы кипятком полили да и спать пошли.

ПНИ В ШАПКАХ

Прослышал один староста, что завтра через деревню царь проедет, перепугался сначала, а потом думать стал, как государю понравится, чем ему угодить.

Долго думал староста, по деревне ходил — ничего не придумал. Вышел тогда за деревню, идет, видит: по краям дороги пни торчат.

— Эй, мужики, — говорит, — что-то много пней торчит вдоль дороги, понравится ли такое царскому глазу?

— Не понравится, — отвечают мужики.

— А коли не понравится, надо с ними что-то сделать.

— Что ж теперь сделаешь? — говорят мужики. — Убрать — поздно, никак не успеет. Разве что ветками завалить.

— Завалить — много ума не надо.

— Что же тогда? — задумались мужики. — Вон их тут сколько, и за месяц не выдернешь.

— И выдергивать не надо, — сказал староста. — А надо, братцы, их нарядить. Нарядить пни-то надо.

— Как это — нарядить?

— Да просто. Гоните баб, пусть все, что покрасивее есть, сюда несут, пни наряжают. Да пусть шапки принесут, чтоб каждый пенёк в шапке красовался. Увидит царь молодцев, удивится, похвалит нас за смекалку, а может, и наградит, рублем одарит.

Сказано — сделано. Набежали из деревни бабы и давай пни наряжать. Весь день наряжали, нарядили — любо посмотреть: стоят красавцы вдоль дороги, блеском блестят, на каждом шапка набекрень. Не пни — молодцы бравые.

А утром и царские гонцы прискакали, скачут, кричат: “Шапки долой! Царь-батюшка едет! Шапки долой! Царь-батюшка едет!”

Проскакали гонцы дальше, народ за деревню повалил, царя-батюшку встречать. Валит народ, в руках шапки мнет, а впереди всех староста плывет, хлеб-соль держит.

Тут и царская карета показалась, народ на колени бросился, староста от страха хлеб-соль уронил, у земли подхватил.

Остановилась карета, царь-батюшка бороду выставил, смотрит зорко, глаз прищуривает. Тут староста колени оторвал, хлеб-соль подает, до земли кланяется.

Велел царь вельможе своему хлеб-соль взять, а сам по сторонам смотрит, улыбается. Любо ему смирение людское видеть, весело. Смотрел царь, смотрел, да вдруг и брови сдвинул, глазом засверкал.

— А это что такое?! — спрашивает, на пни показывает. — Почему в шапках?

— Это пни, ваше величество, — отвечает староста. — Да не простые пни, а нарядженные. Ведь мы их нарочно нарядили, чтоб вашему величеству весело гляделось по сторонам. Пни это, царь-батюшка, настоящие пни.

От таких слов царь — диво дивное! — еще больше разгневался, ножкой топнул, ручкой взмахнул.

— Я не спрашиваю, кто это! — вскричал грозно. — Я спрашиваю: почему в шапках?!

Обмер староста, речь потерял, губы запрыгали.

— Ваше величество, — бормочет. — Пни это, потому и в шапках. Мы их нарочно нарядили, чтобы ваше царское величество порадовать. Пни это, отец, пни деревянные!

Пуще прежнего разгневался царь. ногами топает, руками взмахивает.

— Я не спрашиваю, кто это, — кричит снова. — Я спрашиваю: почему в шапках?!

Молчит староста, молчит народ — языки отняло, душа в пятки ушла, все с жизнью прощаются, Бога просят, чтоб пронесло.

А царь-государь совсем расхотелся, ничем не уймешь.

— Вельможа! — кричит.

Подскочил вельможа, спину выгнул.

— Перепороть! — приказывает царь. — Каждому, кто в шапке, ввалить по пятьдесят плетей.

Крикнул вельможа слуг, царский приказ передал. Налетели слуги на пни, шапки посбивали и давай охаживать, давай плетками хлестать! Хлещут, стараются, а царь сидит, плетки считает. Сосчитал до пятидесяти, накинул еще пяток, платком махнул: хватит, мол, пора дальше ехать.

Перестали слуги пни хлестать, повеселел царь-батюшка, гнев на милость сменил: народу горсть медяков кинул, кулек пряников высыпал. Ошалел народ от такой милости, в драку бросился, а царь-батюшка дальше поехал, свое царство-государство глядеть да порядок радеть.

НАЗЛО МУЖУ СЯДУ В ЛУЖУ

Стояла в деревне изба мужика Нечая, а в избе стоял шум, по всему видно: баба с мужиком спорит, скандалит. Люди мимо проходят, головами качают. Вдруг смотрят: выбежала баба из дому, кричит:

— Назло мужу сяду в лужу!

Тут и муж выбегает, Нечай, тоже кричит:

— Назло жене сяду в стороне!

Села баба в лужу, сидит, мужа злит, а муж чего-то не злится, сидит в стороне, покуривает да усмехается.

Посидела баба, да, видать, не больно-то хорошо в луже сидеть, выскочила, снова кричит:

— Назло тебе, злодей, сяду на репей!

Брякнулась баба на куст репея, подмяла под себя, сидит, а муж ей кричит:

— Назло тебе, Клавка, сяду на травку!

Сел на травку, покуривает да посмеивается.

Посидела баба на репях, да, видать, не сладко сидеть-то, колется, она и вскопчила, в голос заблажила:

— Назло тебе, зяблик, сяду на грабли!

Села баба на грабли, грабли зубьями вверх — не ахти как приятно сидеть, да чего не сделаешь, чтобы мужа позлить.

А муж — ну прямо удивление! — не злится, тоже кричит:

— Назло тебе, сорока, сяду я сбоку.

Сел сбоку, сигарку покуривает да посмеивается.

Баба и рада бы подольше на граблях посидеть, мужа позлить, да, видно, не с руки на зубьях вертеться, фыркнула с граблей, еще пуще заблажила:

— Назло тебе, сверчок, сяду на сучок!

Вскарабкалась баба на дерево, села на сучок, сидит, подкачивает, а муж не отстает, тоже добавляет:

— Назло тебе, бабочка, сяду на лавочку!

Сел на лавочку, сидит, покуривает да посмеивается.

А баба подкачивала, подкачивала, сучок обломился — она и грянулась оземь. Тут-то и одуматься ей, ан нет, баба еще злее стала, на всю деревню блажит:

— Назло мужику себя в телегу запрягу!

Запрягла себя в телегу, а муж и подкрикнул:

— Назло женке сяду в тележку, кнут возьму, вдоль деревни проедусь!

Взял муж кнут, сел в телегу да как жиганет двуногую лошадку по спине. Взвыла лошадка, вскачь ударилась, а муж сидит, кнут поверчивает. Как сбавит лошадка ход, так кнута дает, лошадка и вскидывается, галопом мчится. Всю деревню пробежала, народ удивила, муж обратно завернул, кнутом попотчевал — лошадка птицей понеслась, во двор ворвалась, всю злость растеряла, села на землю, из хомута выглядывает, язык на плече.

— Прости, муженек, — говорит, — больше не буду, только разреши еще один раз назло тебе сделать.

— Разрешаю, — сказал муж, — делай.

Вылезла баба из хомута, подошла к мужу, в ноги окунулась:

— Назло тебе, родной, бью поклон земной.

Засмеялся муж, сигарку в сторону откинул.

— Назло тебе, родная, крепко обнимаю.

Обнял муж жену, пошли они в дом, да с тех пор и не скандалили больше, жили душа в душу.

ПРО МУЖИКА БЕЗ ГРЕХОВ

Жил мужик, да такой безгрешный, прямо удивление. За всю жизнь ни одного греха не сотворил, по-божески жил, в церковь ходил, старших чтил, не воровал, не убивал, не прелюбодействовал.

Все бы хорошо, да пришла пора — помирать надо, на небо подниматься. Помер мужик, поднялся на небо — и прямым ходом в Рай. Пришел, стучится, открывают ему апостолы.

— Кто такой? — спрашивают. — Чего надо?

— Я такой-то, — отвечает мужик, — жил, ни одного греха не нажил, тут мое место, в Раю.

Поглядели апостолы в список, нашли фамилию, головой кивают.

— Правильно, мужичок, твое место тут, в Раю. Подожди маленько, сейчас выйдем, под белы ручки тебя возьмем.

Вышли апостолы, взяли мужика под белы ручки, повели. Чует мужик — не туда его ведут.

— Куда же вы меня ведете? — спрашивает.

Не отвечают апостолы, сами вопросы задают:

— Скажи, мужичок, приходилось ли тебе на земле голодать?

— Нет, не приходилось.

— А от холода замерзать?

— Тоже не приходилось, Бог миловал.

— От жестокой болезни страдать?

— И этого не было, на здоровье не жаловался.

— И совесть тебя ни разу не грызла?

— И совесть меня ни разу не грызла.

— И душевных страданий ты не испытывал?

— Нет, не испытывал. Да вы скажите, куда вы меня ведете?! Рай-то в другой стороне вроде.

Не отвечают апостолы, головами качают, мужика под белы ручки ведут.

Привели непонятно куда, дверь открыли — у мужика и волосы дыбом, сразу все понял, назад попятился.

— Да ведь вы меня, кажись, в Ад привели! — кричит. — Вон как грешники-то орут, криками душу рвут!

— Правильно, — сказали апостолы. — Мы тебя в Ад привели.

— Не хочу в Ад! — кричит мужик. — Мое место в Раю, туда и ведите!

Не слушают апостолы, втолкнули мужика в Ад, дверь захлопнули, сказали в окошечко:

— Запомни, мужичок, одну великую истину: Ада не попробуешь — Рая не поймешь. Поживи тут, а через год мы придем, тебя в Рай поведем, твое место никто не займет.

Ушли апостолы, а безгрешный мужик остался, великую истину на своем горбу проверять: Ад пробовать, чтобы Рай понять.

ЧТО БАБА ДЕЛАЛА?

Пришел вечером муж из лесу, сел на лавку, закурил и говорит бабе:

— Ну, баба, рассказывай, чего день делала?

— Чего делала, — отвечает баба. — Всего делала: и шила, и мыла, ужин варила.

— Что же ты шила?

— А тебе рубаху. С рукавов начала, да соседка забрела, новостей куча да у меня две. Уж я шила-шила — за мытье взялась.

— Где же рубаха?

— Да рубаха-то на месте.

— А место где?

— А место в сундуке, сундук-то большой, я в уголок засунула, а в какой — не помню.

— Ну ладно. Дальше рассказывай. Чего мыла? Полы, что ли?

— И полы мыла, и окна протерла. С кухни начала, да соседка забрела, ругаться завела. Она слово, а я три, она слово, а я пять — да за мытье опять. Уж я мыла-мыла — за варку взялась.

— Как же ты мыла, коли половицы грязные и на окнах копать?

— Сапогов не снимаешь, оттого и половицы грязные, куришь в избе — оттого и копать на стеклах.

— Ну ладно, — сказал мужик. — С этим понятно. Дальше рассказывай. Чего варила?

— Варила суп да кашу. С каши начала, тут соседка забрела, третья уже, такая веселая, прямо не могу. Все хи-хи да хи-хи, а я ей — ха-ха да ха-ха, надо в суп положить петуха, голову снять, бока ощипать — то-то заботушка, кому-то во скуку, а мне в радость — петуха щипать, муженька поджидать.

— Ну и как, ощипала?

— Только завела, да вспомнила, что голову не сняла, побежала за топором, а он, проклятый, двором-двором — да за околицу. Хотела догнать, да соседка отговорила, сказала, чтоб щи варила.

— Ну и как, сварила?

— Как не сварила?! Еще вчера говорила, а ты и забыл?! .

— Я и вправду забыл. Ну, доставай, коли сварила.

— Достать нетрудно, да ухват соседка унесла, на часок взяла.

— Ну, сбегай, принеси.

— Чего бежать, можно и так достать, кочергой нашарить.

— Доставай так, нашаривай.

Взяла баба кочергу, стала в печи шарить. Долго шарила, не вытерпел муж.

— Ну, чего ты?!

— Да погоди маленько. Печь-то большая, не вдруг чугун найдешь.

Искала-искала чугун да и руками всплеснула:

— Чего ж я, дура, ищу-то?! Чугун-то под рукой, на шестке стоит. Я его вытянула, хотела соли кинуть, да тут тебя принесло, память откинуло.

Поглядел муж — и правда, чугун на шестке стоит, к тому же и перевернутый.

— Как же ты щи варила: чугун-то перевернутый?!

— Да ведь я всегда так варю. Ты что, ни разу не видал?

— Раньше не видал, а теперь вижу. Вижу, что поработала: и шила, и мыла...

— Да, да, и шила, и мыла...

— И ужин варила...

— И ужин варила...

— И все языком...

— И все языком... Ой, что я говорю-то! — прикусила баба язык, да слово — не воробей, иди, лови его.

Встал тут муж, снял с гвоздя вожжи, начал бабу охаживать.

— Языком хорошо, а вожжами лучше, — охаживает, приговаривает. — Языком хорошо, а вожжами лучше...

С того дня язык у бабы сразу короче стал, а голова умнее, ноги быстрее, руки ухвастистей.

СИДОР-ДОБРОДЕЛ

Шел однажды мужик Сидор по дороге, вдруг поднялся ветер и свалил придорожное дерево, — дерево и упало, едва Сидора не придавило. Отскочил Сидор, поглядел — под корнями блестит что-то. Подошел, копнул — крышка оказалась, на крышке кольцо.

“Эге, — думает Сидор, — да ведь тут сундук, кажется, зарыт. Неужто клад?”

Дернул Сидор за кольцо — крышка открылась, а там другая оказалась, тоже с кольцом. Дернул Сидор и эту крышку — не открывается. Видит, в уголке свиток бумажный лежит. Схватил, развернул, а там написано: “Крышка сия заговорная, чтобы ее открыть, надо три добрых дела сотворить”.

Прочитал Сидор, не поверил, еще раз крышку за кольцо подергал — нет, не открывается. Ругнулся Сидор — уж так хотелось сундук открыть, да что поделаешь!

Пошел Сидор в деревню, стал выглядывать: где бы три добрых дела сотворить? Видит, бабка дорогу собирается перейти, шаг уже шагнула, Сидор и закричи:

— Стой, бабка, стой! Не шевелись!

Замерла бабка, одна нога в воздухе, а Сидор подбежал, бабку схватил, чуть руку не вывернул — да скорей на другую сторону дороги. Перенес, поставил — сначала, горяча-то, на голову, потом на ноги, дальше пошел.

“Одно доброе дело сделано, — думает. — Еще два — и я богач”.

Идет, видит: дедко грядку копать налаживается, уже лопату в землю вбил. Сидор и кричит:

— Стой, дедко, стой! Брось лопату!

Испугался дедко, лопату выронил, а Сидор подхватил, копать начал. Копают, спешит — вмиг перековырял, лопату бросил, на дедка и не поглядел, дальше идет.

“Два дела есть, — думает, радуется. — Еще одно — и клад мой”.

Идет, выглядывает, — тут баба с ведрами вывернулась.

— Стой, баба! — крикнул Сидор. — Отдай ведра!

Замерла баба, на Сидора глаза ширит, а Сидор подбегает, только бы ведра взять — баба как закричит, ведра кинула и бежать. Сидор едва успел коромысло подхватить.

“Дура баба, — думает. — К ней с добром, а она — бегом. Черт с ней, донесу до крыльца — дело в зачет пойдет”.

Донес до крыльца, половину расплескал, поставил да скорей за деревню — крышку открывать. За кольцо схватился, понатужился — туговато, но открылась крышка. Глянул Сидор — ничего не поймет: под этой крышкой еще крышка, в уголке свиток лежит. Подергал Сидор третью крышку — не открывается, бумагу развернул, там надпись: “Крышка сия заговорная, откроется тому, кто три добрых дела сделает”.

Плюнул Сидор, бумагу смял, в сторону кинул.

“Три дела сделал, еще три подавай! — думает. — Ладно уж, куда денешься!”

Пошел Сидор опять в деревню, видит: бабка, уже другая, козу за рога тянет, а та не идет, упирается.

— А ну, бабка, — сказал Сидор, — дай-ка я.

Схватил козу — да через забор. От такого дела старуха присела, речь потеряла.

— Вот так всегда делай, — посоветовал Сидор, сам дальше идет.

Приметил: старик в избу охапку дров несет, вмиг подбежал, дрова у старика отбирает.

— Ну-ка я, — говорит.

Схватил охапку, махнул в раскрытое окно, отряхнулся.

— Вот так и ты, дедко, делай: в окно махни, и тащить не надо.

Старик глазами хлопает, а Сидору еще одно доброе дело надо сделать, идет, высматривает. Увидел бабу — та корзину с бельем волокет, полоскала, видно.

— Стой, баба! — закричал Сидор. — Отдай корзину!

Подбежал — баба онемела со страху, а корзину не отдает, вцепилась в нее — пятерым не оторвать.

— Дай корзину-то, дура! Помогу донести.

Молчит баба, не отпускает корзинку. Тогда схватил Сидор и бабу, и корзину, понес охапкой. До избы донес, через забор перевалил — и скорей за деревню.

“Все, — думает. — Три дела есть, клад у меня в кармане. Тьфу, что я говорю — ведь там и в мешок, наверное, не укласть, сундук-то большой”.

Прибежал Сидор, под корень прыгнул, за кольцо схватился, тужится. Тяжело идет крышка, но все же поднимается. От натуги забурел Сидор, открыл наконец крышку, сунулся, рот разинул: под третьей крышкой еще крышка, на ней свиток бумажный.

Заругался Сидор зло, стал за кольцо рвать — нет, не поддается, надо бумагу читать. Развернул Сидор, а там опять: “Крышка сия заговорная, чтоб ее открыть — надобно три добрых дела совершить”.

Пуще прежнего заругался Сидор, бумажку в клочья разорвал, вылез из-под корня злющий, пошел добрые дела делать.

Пришел в деревню, бабку увидел, уже третью по счету, — бабка чужого козла из огорода выгоняет.

— Погоди, бабка! — крикнул Сидор. — Погоди малость!

Вывернул Сидор кол из изгороди, на козла пошел. А козел — диво дивное! — на него, рога угнул, вот-вот проткнет. Сидор кол бросил да бежать, козел — за ним. Выбежали оба из огорода, бабка воротца закрыла, Сидору платком помахала. Обманул все-таки Сидор козла, перемахнул через два гумна, овражом прополз, снова по деревне идет.

“Одно дело есть, — думает. — Пошли Бог еще два — неумоготу уж мне”.

Тут дедко ему попался, другой уже, третий по счету, — этот грядку поливает, ковшиком из бочки черпает.

— Погодь, старик, — говорит Сидор. — Не так делаешь, вот как надо.

Схватил Сидор бочку с водой, на грядку опрокинул, поплыла грядка, а Сидор дальше пошел, некогда ему благодарности выслушивать. Попадаетеся ему баба, идет, на ходу калач жует.

— Стой, баба, — крикнул Сидор. — Дай помогу!

Вывал калач, съел, помог бабе, за деревню ударился.

Прибежал, под корень нырнул — и давай крышку поднимать. Не идет крышка, лишь чуток шевельнулась. Понатужился Сидор — на зад у штаны лопнули, приподнялась крышка, да мало. Еще понатужился Сидор — со штанов пуговицы брызнули, штаны упали, а крышка поднялась. Смотрит Сидор внутрь, глазами шарит, глазам не верит: опять крышка, опять кольцо, в уголке свиток бумажный лежит. Зарычал Сидор, головой замотал, рубаху пополам разорвал, схватил бумагу и — хоп! — съел ее, не читавши.

Как раз мимо два мужика шли. Услышали они рычание, остановились, видят: из-под корня человек вылезает, без штанов, рубаха разорвана, сам зверь зверем. Вылез, на мужиков кинулся, медведем ревет.

Ударились мужики в деревню, крик подняли, народ в лес побежал, а мужик без штанов по деревне прошелся, все заборы переломал, все огороды перетоптал. Огороды топчет, по-звериному хохочет, попалась ему собачонка — в клочья разорвал, попалась овца — шерсть до облаков. Люди на деревья залезли, издали глядят, охают, а того не ведают, что от добрых дел человек озверел.

ЗА БАБУ — ДРОВА

Живал в одной деревне мужик Митроха. Мужик как мужик, разве что леноват малость, да с кем это не бывает. Раз в одну осень поленился Митроха дров на зиму нарубить, нарубил на ползимы, а дальше рукой махнул: “Авось хватит до весны, ничего!” Авось хватит, авось и не хватит. У Митрохи как раз не хватило — на дворе февраль, а печь затопить нечем, кончились дрова, думай, голова, что поделять.

Недолго думал Митроха, пошел к соседу Ивану, заходит, на лавку садится.

— Сосед, дорогой, — говорит. — Выручи меня, дай дровец, а то и печь затопить нечем.

Усмехнулся Иван на такие слова, подумал.

— Хорошо, — говорит. — Дам тебе дров, только попроси у соседа Степана сена возок.

Пошел Митроха к соседу Степану, стучится, на лавку садится:

— Эй, Степан, дай-ка ты мне сена возок.

— Зачем тебе сена возок?

— Да, вишь, сено-то надо дать соседу Ивану, а Иван за то даст мне дров. За окном-то февраль, а мне и печь затопить нечем.

Усмехнулся сосед Степан, бороду погладил.

— Ладно, — говорит. — Дам тебе сена возок, только ты сходи-ка к куму Науму, попроси у него муки мешок.

Пошел Митроха к куму Науму, сел на лавку, речь завел.

— Кум Наум, послушай, что скажу. Сосед Степан послал меня к тебе, не дашь ли ты ему мешок муки?

— Зачем же ему мешок муки?

— Да, вишь, какое дело, Наумушка. Мешок-то муки я дам соседу Степану, тот сена возок отвалит. Сенцо я отдам соседу Ивану, а Иван взамен мне дров даст. Дров-то у меня нету, кончились, в избе мороз трещит, иней по углам.

Поглядел кум Наум на Митроху, головой покачал.

— Что же, — сказал. — Дам я тебе муки мешок, только сначала сходи-ка ты к свату Ипату, попроси у него шубу для меня.

Пошел Митроха к свату Ипату, попросил шубу для кума Наума.

— Для чего ж ему шуба, да еще зимой? — спрашивает сват Ипат.

— А вот для чего, Ипатушко: я шубу-то куму Науму принесу, он мне мешок муки даст, муку я соседу Степану отдам, а он мне за это возок сена. Сено я соседу Ивану приволоку, тот мне дров даст. Дров-то, вишь, у меня нету, кончились, в избе мороз поселился, без дров не выживешь.

Смотрит сват Ипат на Митроху, бородой встряхивает, усмешку кривит.

— Хорошо, — сказал. — Дам я тебе шубу, так и быть. Только поначалу сходи-ка ты к Петьке, что за рекой живет, попроси у него бабу на недельку, а уж за шубой дело не станет.

Пошел Митроха к Петьке, что за рекой живет, заходит, на лавку опускается.

— Эй, Петька, — говорит. — Дай-ко мне бабу свою на недельку, уважь человека.

— Чего-чего?! — Петька чай пил, чашка из рук выпала.

— Я говорю: дай-ко ты мне бабу свою на недельку, уважь человека.

Ошалел Петька, на Митроху глядит, ничего не говорит.

— Да ты не пучь глаза-то, — сказал Митроха. — Мне твоя баба и даром не нужна, да ведь без нее я совсем замерзну, дрова кончились, в избе-то мороз гуляет, иней по углам насел. Уж ты уважь меня, дружок, выручи.

Опомнился Петька, из-за стола встает, коромысло берет.

— Да ты шутник, Митроха! — закричал.

Да как хватит Митроху вдоль спины, Митроха и вылетит на улицу. Петька за ним, да еще раз вдоль спины, да в шею, да по бокам. Кинулся Митроха бежать, света не видит, про все забыл. Отстал Петька, обратно завернул, а Митроха в свою избу запрыгнул, крючок накинуд, сидит, трясется — знатно огреб коромысла, а за что, спрашивается? Ведь Петькина баба ему и даром не нужна, а без нее не дадут Митрохе шубу, без шубы не дадут муки, без муки не дадут сена, а без сена не видать ему дров. А без дров что за жизнь, да еще посреди зимы! Без дров и околеть недолго, что ж теперь делать.

Думал Митроха, думал, да и думать перестал, топор из-под лавки достал, лошадь запряг, в лес ударился. Весь день топором махал, хорошо отогрелся, дров привез — до весны хватит. Натопил Митроха избу, мороз выжил, иней по углам свел, на печи лежит, людей благодарит: спасибо Петьке с коромыслом, свату

Ипату да куму Науму, да Степану с Иваном — научили жить, за дровами в лес ходить, по соседям не искать, может, сказку снова начать да еще рассказать, как мужик Митроха дрова искал в людях, а нашел в лесу, домой привез огромный воз, напил, печь натопил, лежит теперь, бока жарит да добрых людей вспоминает — то кума Наума, то свата Ипата, то Степана с Иваном, а больше всего Петьку с коромыслом да коромысло с Петькой, — спасибо ногам, ходко бежали, спасибо и голове — додумалась все-таки, в лес направила, дрова рубить заставила, теперь-то Митрохе и вьюга нипочем, и мороз не страшен.

ПРО ТИМОХУ И ПРО МУЖА-ПОКОЙНИКА

Ехал мужик Тимоха в город. Дорога незнакомая, Тимоха — мужик молодой, на время свободный (баба-то в деревне осталась, ясное дело). Едет, видит: была одна дорога, стало три, а между ними камень лежит, на камне надпись. Подъехал Тимоха, надпись стал разбирать.

“Налево поедешь — к Авдотье-вдове попадешь, она тебя накормит. Направо поедешь — к Анисье-вдове попадешь, она тебя напоит. Прямо поедешь — к Марье-вдовице, веселой молодежи попадешь, она тебя ублажит, под бок положит”.

Разобрал Тимоха надпись, крикнул. Трудная задача: какую дорогу выбрать? Налево ехать — будешь сыт, направо — будешь пьян, а прямо — пусть и грех, зато сладкий какой, выбирай, дорогой, дело к ночи идет, брюхо речи ведет, медовуха ждет, веселая вдова у окошка прядет, на дорогу поглядывает.

Задумался Тимоха, сидит, умом раскидывает. Думал, думал, ничего не придумал. И есть охота, и выпить бы не мешало, да ведь и третья дорога не заказана. Задала задачку жизнь, хоть домой воротись, дома-то тебе и поесть будет, и выпить баба поставит, и постель наладит, косу начнет расплетать.

Опять стал думать Тимоха. Уж и ночь на носу, где-то филин ухнул, леший засмеялся, сучья трещат. Вскочил Тимоха на ноги, шапкой оземь грянул.

— Пропадай моя головушка, — сказал. — Поеду прямо, к Марье-вдовице, веселой молодежи. Что еда, что медовуха?! Еда и дома есть, медовуха тоже в кладовке стоит, обойдемся. А вот это самое... Это самое, конечно, дома тоже есть, да ведь что дома? Дома оно и есть дома, а на стороне-то, мужики говорят, слаще. Вот и надо проверить, верно ли мужики говорят, может, врут все.

Сел Тимоха на телегу, поехал прямо. Долго ли, коротко ли — приехал на хутор, в доме огонек светится, заезжего человека зовет. Привязал Тимоха лошадь, кинул ей овса, в окошко брякнул. Сразу дверь открылась — на пороге красавица стоит, Тимохе поклон отдает.

— Заходи, добрый молодец, — говорит. — Заходи, давно тебя поджидаю.

Зашел Тимоха — в избе ни стола, ни скамейки, одна кровать посередине, широкая, на трех перинах, одеяло откинута. Поглядел Тимоха по стенам — стены голые, только часы висят, маятник качается.

— Скажи, добрый молодец, женат ли ты? — спрашивает красавица.

— Не успел еще, — говорит Тимоха, у самого уши зардели.

— Не успел еще жениться, а уже врать научился, — сказала вдовица. — Ну, да ничего, это простиительно. А скажи, голодный ты?

— Голодный.

— Что ж ты налево не поехал?

Молчит Тимоха, с ноги на ногу переступает.

— Небось, и медовухи хочешь?

— Да не отказался бы.

— Что ж тогда направо не поехал?

Опять молчит Тимоха, с ноги на ногу переступает.

— Ну уж ладно. Коль ты выбрал прямую дорогу, раздевайся, кровать тебя поджидает.

Стал раздеваться Тимоха, сапоги только снял — часы полночь пробили, в дверях застучал кто-то.

— Ох, кудрявый, — говорит вдовица, — прячься скорей под кровать, ведь это мой муж-покойник идет. Увидит — несдобровать тебе.

Схватил Тимоха сапоги, нырнул под кровать, лежит, почти не дышит. Открыла вдовица дверь, муж-покойник входит. Вошел, к жене бросился, обнимает, целует, ко кровати ведет.

— Ох, родная, — говорит. — Весь день в гробу как на иголках лежал, едва полночи дождался. Ложись рядышком, ненаглядная, стосковался я.

Слышит Тимоха: на кровать брякнулись, друг друга ласкают, всякие слова говорят. Вдруг что-то упало на пол, поглядел Тимоха — а это глаз.

Тут жена и говорит:

— Ой, милый, ведь у тебя глаз вывалился.

— Пускай вывалился, ты меня и без глаза любишь, верно?

— Верно, милый, и без глаза тебя люблю.

Милуются муж да жена, а Тимоха под кроватью лежит ни жив ни мертв. Тут снова что-то на пол шмякнулось, поглядел Тимоха — а это ухо. Жена и говорит:

— Ой, родной, у тебя ухо отвалилось.

— Пускай отвалилось, — сказал муж. — Ты меня и без уха не разлюбишь, верно ведь?

— Верно, родной, верно. Ты и без уха мне мил, одного тебя люблю.

Милуются муж да жена, разные слова говорят, а Тимоха лежит ни жив ни мертв, ждет, что дальше будет. Тут опять что-то на пол упало, глядит Тимоха: у мужа нос отвалился, волосы сверху сыплются.

— Ой, ненаглядный, у тебя нос отвалился, — говорит жена. — И волосы сыплются, череп синий какой-то.

— Пускай синий, ты и синего меня любишь, не так ли?

— Так, милый, так.

— Вот и ладно, давай теперь делом займемся, а то уж немоготу, весь день в гробу как на иголках лежал, до того хотелось. Давай, сладкая, давай, милая, где у тебя там...

— Да тут, милый, тут. Аль уж забыл, память отшибло?

— Отшибло, да не все. Чего-чего, а это-то помню, мимо не проеду.

Тут опять что-то на пол шлепнулось, глядит Тимоха, глазам не верит: упало то, не знаю что, называй как хочешь.

— Да, женушка, — говорит муж. — Уж мимо я не проеду, будь спокойна, только вот не пойму, где же он, куда девался? Подожди-ка, я к лампе подойду, получше разгляжу.

Встал муж, подошел к лампе, поглядел — и заплакал.

— Что ты там плачешь, синенький мой? — спрашивает жена.

— Как не плакать, — отвечает муж. — Ведь он же отвалился!

— Не печалься, милый. Я знала, что скоро отвалится, ему замену припасла.

— Какую еще замену?

— А взгляни-ка под кровать — увидишь.

Как услышал Тимоха такое, дрожмя задрожал, белыми глазами на ноги смотрит. А ноги к нему подходят, синие, кожа на ходу отваливается, кости видно. Подошли ноги к кровати, сгибаться стали. Согнулись — тут Тимоха и лицо увидел. Увидел да как... нет, не закричал, не руками замахал — как закукарекает. Кукарекнул громко, лихо, не хуже петуха настоящего, даже лучше. Покойник как вскочит, как прыгнет в дверь — и ходу. Убежал, тихо стало, тут и красавица встает, к Тимохе нагибается, ласково усмехается.

— Поди, милый, — говорит, — поди ко мне. Он теперь долго не придет, а может, совсем не явится. Поди сюда, я ублажу тебя, поди скорей.

Вылез Тимоха из-под кровати, губы трясутся, коленки стучают, волосы на голове стойком стоят. Вылез, начал стены шупать.

— Что ты стены шупаешь, кудрявый?

— Дверь ишу.

— А зачем тебе дверь?

— Надо. Домой хочу.

Засмеялась красавица.

— Нет, кудрявый, дверь ты не найдешь. Была дверь, да пропала. И тебе пропасть суждено. Только сначала я из тебя кровь выпущу, твоей кровью завтра мужа напою, он и оживет.

Бросилась красавица на Тимоху, а Тимоха от нее. Только некуда ему убежать: в избе ни окон, ни дверей, все куда-то пропало. Бегаёт Тимоха вокруг кровати, а красавица за ним гоняется, смеется.

“Пропал, — думает Тимоха. — Ох, пропал!”

Тут вспомнил он про коня, что на улице оставил, да как крикнет:

— Эй, Карюха, хозяин в беде, выручай!

Услыхал Карюха голос хозяина, заржал громко да как даст копытом в стену. Стена и упала: Тимоха едва успел отскочить да на коня вскочить. Конь мигом взвился, помчал Тимоху от беды, а красавицу стеной придавило, только недосуг Тимохе разглядывать. Доскакал до камня, спрыгнул, руками рядом яму вырыл, камень в яму толкнул, землей закидал — ровно стало на развилке.

И домой помчался, про все забыл. Приехал, жену обнял, на колени перед ней встал, в пол головой стучает.

— Прости, — говорит. — Прости, родная!

Жена не понимает, а Тимоха не объясняет, только головой в пол стучит и стучит, одно слово говорит:

— Прости, прости!

Ну, баба и простила его поскорей, а то еще голову свою расколотит.

РУБЛИ ИЗ ГЛАЗ

Один раз прогуливался барин за своей деревней. Идет, видит: стоит мужик с пустым мешком на плече, сам невысок, а кулаки пудовые.

— Ну, братец, — говорит барин, — и кулаки же у тебя, прости Господи.

— Верно, барин, — отвечает мужик (звали его Нечай). — Кулаки у меня здоровые, к тому же и непростые.

— А какие?

— А такие: если кому в лоб дам, у того из глаз золотые рубли посыплются. Три раза щелкну — и рублей полон мешок.

Как послушал барин мужика, так сразу смекнул. “А что? — думает. — Три раза — это ничего, стерпеть нетрудно, зато мешок золотых рублей займею”.

— Слушай, — говорит, — мужичок, мне это очень интересно. Давай-ка попробуем, посмотрим, что у тебя за кулаки. Я лоб-то подставляю, а ты бей.

— А стерпишь ли, барин?

— Ничего, три раза уж как-нибудь стерплю.

— А мешок-то есть ли у тебя? Рубли-то собирать?

— Мешка-то нет, да вон у тебя на плече висит, продай его мне.

— Сто рублей, барин, за меньше и не проси.

Куда деться барину? Дал он мужику сто рублей, взял мешок, стоит, держит, сам глаза зажмурил.

— Давай, братец, хрястай. Три раза — это ничего, потерпеть можно.

Ну, Нечай и залепил барину в лоб. Посыпались из глаз искры да прямо в мешок.

— Ну как? — спрашивает Нечай. — Сыплются золотые рубли?

— Сыплются, сыплются, — отвечает барин. — Давай, дружок, еще разок да поскорее.

Мужик и второй раз барину в лоб закатил. Брызнули искры из глаз — и все в мешок, закачало барина, вот-вот упадет. “Ничего, — думает. — Еще разок остался, надо потерпеть”.

— Давай, братец, давай, — говорит. — Закатывай да посильней, чтоб в мешке под завязку было.

Размахнулся Нечай посильнее, закатил барину в третий раз, барин и мешок уронил, ножками взбрыкнул. Лежит без памяти, а мужик камней в мешок натолкал, завязал да и пошел себе, усмехаясь.

Долго ли, коротко ли — очнулся барин, глазами поворочал, видит: стоит перед ним мешок, полным-полнехонький, наготово завязан. Обрадовался барин, на ноги прыгнул. “Не зря, — думает, — не зря терпел такие страсти: вон мешок-то стоит, полным-полнехонек”.

Схватил барин мешок, хотел поднять, на спину взвалить, да и не может — до того тяжел.

“Вот еще задача, — досадует. — Мешок золотых рублей до дому дотащить”.

Тужился барин, тужился — не поднять мешка, с места не сдвинуть. Сел на дорожку, сидит, думает. Тут мимо мужик с телегой едет, барин увидел, обрадовался.

— Стой, мужичок! — кричит. — Помоги мешок до дому довести, а я тебе заплачу, не обижу.

Остановился мужик.

— А что у тебя в мешке-то, барин? — спрашивает.

Замаялся барин: не скажешь ведь, что в мешке золотые рубли.

— Да что в мешке, — отвечает, — камни в мешке, камни.

— Зачем же, барин, камни тебе понадобились?

Опять замаялся барин, не знает, что отвечать.

— Зачем мне камни понадобились? — говорит. — Уж будто ты, мужичок, не знаешь! Камни в хозяйстве всегда пригодятся.

— Что верно, то верно, — согласился мужик. — Только зачем же самому-то камни таскать? Сказал бы мужикам, они бы тебе навозили сколько хочешь.

— Что мужики! — отвечает барин. — Мужики — дураки, привезут не то, свалят не туда. Ты давай, братец, трогай лошадушку-то, трогай да поменьше разговаривай.

Тронул мужик лошадку, поехали. Ехали ладно, да вдруг на повороте колесо в ямину нырнуло, телега качнулась, мешок и упал на дорогу, развязался, посыпались из мешка камни.

Барин как увидел, так и речь потерял, глаза таращит, пальцем показывает.

— Что, барин, глаза таращишь, пальцем показываешь? — говорит мужик. — Не велика беда: мешок с камнями упал да развязался. Сейчас поправим дело.

Тут у барина и язык наконец нашелся.

— Эй! — кричит. — Смотрите-ка, смотрите-ка: в мешке-то камни!

Дивуется мужик, не понимает.

— А ты думал, золото? — говорит. — Камни, они камни и есть. Сейчас я вот соберу, мешок-то завяжу да и поедем дальше.

Не слушает барин мужика, на камни смотрит, будто съесть хочет.

— Эй! — кричит снова. — Гляньте-ка, гляньте-ка: в мешке-то камни! Камни в мешке-то, братцы!

Глядит мужик на барина, глаза ширит: уж не тронулся ли барин умом?

— Камни, ну и что? — говорит. — Сам ведь собирал, чего теперь удивляться?

Не слушает барин мужика, глаза помутились, волосы дыбом.

— В мешке-то камни, — стоит в телеге, повторяет. — Камни в мешке-то, братцы!

Мужик слушал, слушал да и махнул рукой — и на барина, и на камни, тронул лошадь, поехал в деревню. Барин как стоял в телеге, так и поехал стоя. Едет, пальцем показывает, все повторяет:

— А в мешке-то камни! Камни в мешке-то, братцы!

Привез мужик барина в деревню, совсем безумного, сдал барыне, сам по соседям пошел новость рассказывать. Ходит по соседям, рассказывает, удивляется.

— Надо же, что с барином сделалось! Сам камни собирал, камням и удивляется, пальцем показывает...

ДЫРЫ И ЗАТЫЧКИ

Жил бедняк по прозвищу Кирьяк, как поглядеть с утра — на дыре дыра, плюнуть некуда, охнуть некогда, успевай затыкать да судьбу ругать. И на одежде дыры, и в хозяйстве дыры, и еда — беда: хлеб да вода.

А за окном — весна, девица красна, кого-то радует, а бедняка Кирьяка в тоску вгоняет, сердце защемляет: надо сеять, а сеять нечего — как дальше жить, чего поделявать? Сел Кирьяк за стол, стал думать думать. Думал недолго, придумал неплохое: собрал все дыры в мешок, пришел в поле и давай их сеять. Дыры посеял, горе развеял, домой пошел.

Лето пережил, жатва настает, Кирьяк в поле идет. Пришел, поглядел, так и присел, удивление взяло, кепка с головы упала: посеял дыры — выросли затычки, да так густо — руки не просунуть, до верха не достать. Что ж, урожай хорош — убирать надо, пока дожди не вымочили да люди не увидели, завистью не обидели.

Собрал Кирьяк затычки, вывез на телеге — и давай дыры затыкать, песни напевать. Все дыры заткнул, глубоко вздохнул, плечи расправил: дело сделано, можно и дальше жить. А чего не жить: все дыры заткнуты, и в амбаре затычек — лет на десять запас, дуй себе квас да не дуй себе в ус, в окно поглядывай, головой покачивай: что за головы у людей, что за разуменье? Ведь посеешь рожь — рожь и вырастет, репу кинешь — репа и взойдет. То ли дело бедняк по прозвищу Кирьяк: посеял дыры — выросли затычки, дыры заткнул, что осталось — в амбар замкнул, и живет себе, посмеивается, попивает квасок через каждый часок, а как дождь пойдет — в печь залезает, из печи удочку закидывает, что мимо проплывет — все ловит, под боком сушит, под голову кладет да так и заснет.

Утром проснется — все пожитки сухие, дверь откроет, воду из избы выпустит — да и дальше живет, песенки поет, а как надо затычку — в амбар идет, затычку возьмет да дыру и заткнет. Заткнет, вздохнет да опять запоет. Поет неважно, все больше протяжно, вроде как волком, почти без умолку поет бедняк по прозвищу Кирьяк, а что еще делать? Дыры все заткнуты, пой да пой, омочись слезой, оботрись рукой да опять за песню. Песню неважную, все больше протяжную, на волчью похожую, людям негодую. И не стал бы петь, да само поется, из-под сердца рвется, никак не оборвется, что тут поделаешь...
